# Музыкальная школа

# Джон Апдайк

Мое имя — Альфред Швайген, и я существую во времени. Вчера вечером я слышал, как молодой патер рассказывал о перемене в подходе его церкви к Святым Дарам. На протяжении многих поколений монахини и священнослужители, но главным образом (говорил этот молодой человек) монахини, учили детей католиков, что облатку надо держать во рту, пока она не растает; что прикасаться к ней зубами было бы в некотором смысле святотатством (но это никогда не входило в доктрину, а является лишь тонкостью толкования). Теперь, при расцвете смелых свежих идей, которыми Церковь, как оттаивающая тундра, откликнулась на это нежданно взошедшее солнце — покойного папу Иоанна, — появилась мысль, что Христос-то ведь сказал не: «Приимите и размочите во рту», а просто: «Приимите, ядите». Слово тут — «ядите», и разбавлять его добавочными словами — значит разводить водой метафору физического кормления. Этот мелкий нюанс теологии просто и красиво воплощается в материальном мире: пекарни, работающие для мессы, получили указание забыть науку изготовления тонких до прозрачности облаток-вафелек и впредь печь облатки толще и плотнее — Святые Дары настолько вещественные, что их, не прожевав, не проглотишь.

Сегодня утром я прочитал в газете, что убили одного моего знакомого. Отец пятерых детей, он сидел с ними за обеденным столом, это было через неделю после Дня благодарения. В окно влетела одинокая пуля, попала ему в висок; он свалился на пол и спустя несколько минут умер у ног своих детей. Мы не были близко знакомы. Он — единственный лично известный мне человек, который стал жертвой убийства; на эту роль, мне кажется, кого ни возьми, вообще никто не подходит; хотя в итоге каждая жизнь с геологической неотвратимостью движется исключительно своим путем. Сегодня представить себе его живым уже невозможно. Он был компьютерщик высокой квалификации, широкоплечий мужчина из Небраски, говорил негромким голосом и разбирался в вещах для меня за семью печатями, но держался великодушно и скромно, что придавало ему, в моем почтительном восприятии, сходство с айсбергом, безмятежно плывущим по волнам на своем скрытом мощном основании. Мы встречались с ним (всего два раза, если не ошибаюсь) в доме общего знакомого — его коллеги, а моего соседа. Рассуждали, как обычно рассуждают те, кого разъединяют разные области знания, о том, в чем все люди одинаково невежественны: о политике, детях и, возможно, еще о религии. Хотя у меня впечатление, что ему, как это часто бывает с учеными и уроженцами Среднего Запада, до религии было мало дела. Я воспринимал его как типичного представителя нового вида homo sapiens, который обитает вблизи научных центров среди дискуссионных групп, занятий спортом на открытом воздухе и радостных забот семейной жизни. Подобно джентльменам прошлого, чья сексуальная энергия растрачивалась исключительно в борделях, эти ребята употребляют свой интеллект только на работе, а она так или иначе принадлежит к сфере государственных интересов и потому обычно засекречена. Имея достаточные доходы, по многу детей, микроавтобусы «фольксваген», аудиоаппаратуру «хай-фай», перестроенные викторианские дома и задерганных, язвительных жен, они разрешили — или просто выбросили из головы — парадокс существования в качестве мыслящего животного и, не зная за собой вины, участвуют в жизни скорее будущего, чем настоящего. Его лично я запомнил так ясно потому, что собирался когда-то написать роман о программисте и стал задавать ему вопросы, на которые он любезно отвечал. Мало того, он был настолько любезен, что пригласил меня посмотреть их лаборатории в любое время, когда мне не жаль будет потратить часок и приехать туда, где там они у них находятся. Роман этот я так и не написал — ситуация в моей жизни, которая должна была в нем отразиться, слишком скоро рассосалась — и на работе у него не побывал. По-моему, я даже ни разу не вспомнил о нем за весь год, прошедший между нашей последней встречей и сегодняшним утром, когда жена за завтраком положила передо мной газету и спросила: «Кажется, наш знакомый?» С первой полосы на меня смотрело его симпатичное лицо с широко, по-медвежьи, расставленными глазами. И сообщалось, что он убит.

Я не понимаю, какая связь между вчерашним вечером и нынешним утром, хотя связь, по-видимому, существует. И сейчас, под вечер следующего дня, я пытаюсь ее нащупать, сидя в фойе музыкальной школы, где жду, пока у моей дочери кончится урок игры на фортепиано. Я вижу в этих двух эпизодах общность исходного понятия пищи, того, что питает жизнь, несмотря на посторонние влияния; а также общность параллельных движений, безупречно прямых, изящных перелетов от нематериального (богословская казуистика, маниакальная ненависть) к материальному (весомая облатка, пуля в висок). Что до убийства, то могу ручаться, так как был знаком с убитым, что его провинность идеальна, а не материальна, ему не за что было себя корить, нечего стыдиться. Пытаясь представить себе, в чем дело, я мысленно вижу только ряды цифр и греческих букв и заключаю, что из моего далека оказался свидетелем преступления почти уникального, преступления из чисто научной страсти. И вот что еще остается прибавить: вчерашний молодой патер играет на двенадцатиструнной гитаре, курит сигареты с ментолом и, не смущаясь, сидит в кругу протестантов и атеистов — вроде моего погибшего знакомого программиста, человека будущего.

Но позвольте мне описать музыкальную школу. Мне здесь нравится. Школа расположена в подвале огромной баптистской церкви. Рядом со мной на столе составлены золотые тарелки для сбора пожертвований. Девочки-подростки в первом цвету созревания волокут мимо рыжие футляры с флейтами и потрепанные нотные папки; их неуклюжесть прелестна, как поза купальщиц, пробующих ножкой море. Появляются и проходят мальчишки, мамаши. Со всех сторон несутся звуки — рояля, гобоя, кларнета, подобные зовам из иного мира, где ангел, сбившись, умолкает и после паузы начинает снова. Я слушаю и вспоминаю, каково это — учиться музыке, как невероятно трудно поначалу понять, каким пальцем куда ткнуть, и научиться разбирать эту удивительную письменность, которая сообщает про каждую ноту ее положение и одновременно длительность; усвоить этот язык, доскональный, как латынь, лаконичный, как иврит, дивный для глаза, как персидский или китайский. Разобраться в таинственной каллиграфии этих параллельных полос, завитушек-ключей, натянутых поверху лиг и сходящихся внизу вилочек, и всяческих точек, диезов, бемолей. Какой зияющей кажется пропасть между первыми робкими видениями и первыми запинающимися звуками! Видения понемногу превращаются в звуки, звуки становятся музыкой, музыка становится эмоциями, эмоции опять становятся видениями. Не многим из нас хватает духу пройти этот круг до конца. Я учился музыке много лет, но так ничему и не выучился, и вчера вечером, глядя, как пальцы молодого патера уверенно гарцуют по грифу гитары, я завидовал и не верил своим глазам. Моя дочь еще только начинает учиться на фортепиано, это ее первые уроки, ей восемь лет, она занимается с увлечением и верит в успех. Дочь молча сидит рядом со мной в машине, когда мы едем девять миль от дома до города, где находится школа, и молча сидит рядом со мной, когда мы затемно едем этим же путем обратно. Она больше не просит конфетку или стаканчик кока-колы в награду за труды, теперь сам урок музыки насытил ее. Она уже выросла и только попутно, по старой памяти, замечает, что витрины магазинов снова уже украшены к Рождеству. Я люблю возить ее в музыкальную школу и люблю сидеть дожидаться, пока она освободится, а потом везти ее домой сквозь загадочную тьму навстречу верному ужину. Я везу ее туда и обратно, потому что у моей жены сегодня визит к психоаналитику. Она ездит к психоаналитику, потому что я ей изменяю. Я не понимаю, какая тут связь, но, очевидно, связь существует.

В том моем романе, что остался ненаписан, я выбрал в герои программиста, потому что это самая поэтичная и романтическая профессия из всех, какие приходили в голову, а мой герой должен был быть очень раним и романтичен, так как ему предстояло умереть от измены, то есть от сознания, что она возможна; этой возможности он не выдержал. Я задумал его как человека, чья профессиональная деятельность протекает под защитой ночи (компьютеры — машины, как мне объяснили, слишком ценные, чтобы в дневное время отвлекать их от нужд производства, только ночью свободны для забав и любви), — он изобретает язык, на котором формулируются задачи, вводятся в машину и двойным нажатием добывается музыка верного ответа. Я представлял себе его как личность чересчур утонченную, прозрачную и совестливую для жизни в наше грубое время. Он должен был являть собой, если воспользоваться сравнением из области биологии, перескок в эволюционном ряду, млекопитающего-мутанта, растоптанного динозаврами, или, переходя на математику, максимальное число, на единицу большее предельного. Книга должна была так и называться: «N + 1». Первая фраза там была такая: «Пока Эхо проходила над головами, он через цветастую материю платья гладил бок Мэгги Джонс». Эхо — искусственная планета, первая в мире, чудо науки; и в то время как пары на лужайке смотрят на нее, задрав головы, эти двое ласкают друг друга. Она берет его свободную руку, поднимает к губам, греет своим дыханием, целует. «Его обузданное тело словно подключилось к тяжелому, медленному вращению Земли, а бойкая малая планета, только что выведенная в пространство, спокойно прокладывала себе путь между старыми источниками света, казавшимися рядом с нею тусклым крошевом». С этого тихого мгновения, с технологического дива под зловещими небесами, сюжет двигался более или менее под уклон, превращаясь в историю любви, угрызений совести и нервного расстройства с физиологическими осложнениями (надо было еще кое-что про это почитать), которые преспокойно убивали героя, как стирают ошибку с классной доски. В качестве действующих лиц предполагались герой, его жена, его возлюбленная и его врач. В финале жена выходит за врача, а Мэгги Джонс спокойно продолжит движение среди сравнительно тусклых... Остановите меня.

Психоаналитик спрашивает, откуда у меня потребность уничижать себя? Это, я думаю, по привычке к покаянию. В юности я посещал деревенскую церковь, где мы должны были раз в два месяца исповедоваться в грехах; все стояли на коленях на голом полу, а книжицы с текстом службы ставили на сиденья перед собою. Служба была длинная и суровая, начиналась она словами: «Возлюбленные во Господе! Соберемся вместе и искренне покаемся в грехах наших перед Богом, нашим Отцом...» — и шла под аккомпанемент кряхтения и пыхтения неповоротливых, упитанных немецких тел, усаживающихся на пятках за стульями. Мы читали хором: «Если же заглянем в себя, то не найдем в себе ничего, но лишь грех и смерть, от них же нам никаким способом не избавиться». А по завершении исповеди мы вставали, и нас подводили, ряд за рядом, к алтарному ограждению, где молодой черноволосый пастор очень маленькими белыми ручками кормил нас, приговаривая: «Приимите и ядите; это истинное тело Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, отданное на смерть за грехи ваши». Алтарное ограждение было из лакированного дерева и окружало алтарь с трех сторон, так что, стоя там с облаткой во рту (странно, что, дойдя туда, мы на колени не становились), каждый мог видеть, не мог не видеть, лица других причащающихся. Наши прихожане народ простой, закаленный, выходное платье всех стесняло, на лицах с облаткой во рту, в слезящихся от усилия глазах читалась мольба о скорейшем вызволении из глубин таинства. И мне помнится с совершенной ясностью, я даже глотаю слюну, что облатку приходилось если не прямо разжевывать, то по крайней мере прикасаться, прихватывать, немного приминать зубами.

Выходили мы, как омытые. «Благодарим Тебя, Господи Всемогущий, за то, что Ты дал нашим душам облегчение через Твои целительные дары». В церкви пахло так же, как в этой школе, проблескивали какие-то шепоты, отсвечивали блики на лакированном дереве. Я не музыкален и не религиозен. В каждый момент жизни я должен соображать, как поставить пальцы, и, нажав, еще сомневаюсь, исторгну ли аккорд. То же самое и мои друзья. Все мы странники, нерешительно, нога за ногу, бредущие в сторону развода. Иные застревают на взаимном покаянии, оно становится наркотиком и выматывает душу. Другие идут дальше, вплоть до громких ссор и даже драк, а потом уступают сексуальному возбуждению. Некоторые доходят до психоаналитиков. А единицы добираются даже до адвокатов. Вчера вечером, когда молодой патер сидел в кругу моих знакомых, вдруг без стука вошла женщина; она явилась после посещения адвоката, глаза и волосы страдальчески раскиданы, как будто она побывала на сильном ветру. Заметив нашего гостя в черном, она поразилась или, может быть, устыдилась и сделала два шага назад. Но затем, среди общего молчания, справилась с собой и села среди нас. Этот короткий форшлаг[[1]](#footnote-1) из двух попятных шагов с возвратом к главному движению, по-видимому, требует коды.

Мир — это Святые Дары, чтобы вкусить, их надо разжевать. Мне хорошо здесь, в школе. Выходит моя дочь, у нее кончился урок музыки. Ее лицо, круглое, довольное и свежее, светится надеждой, удовлетворенная улыбка, прикушенная нижняя губка пронзают мне сердце, и я умираю (мне кажется, что я умираю) у ее ног.

1. *Форшлаг* — музыкальный термин (*нем.* Vorschlag, от vor — перед и Schlag — удар), обозначающий одно из музыкальных украшений. Представляет собой один-два звука, предваряющих основной звук мелодии. [↑](#footnote-ref-1)